

Л. С. КЛЕЙН,

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, Почетный доктор Высшей антропологической школы Молдавии

КУЛЬТУРА, ПЕРВОБЫТНЫЙ ПРИМИТИВИЗМ И КОНЦЛАГЕРЬ

Первой опубликованной в академическом сборнике работой Д. С. Лихачева стала статья о воровской речи «Черты первобытного примитивизма воровской речи» (1935) — в ее основу легли впечатления от пребывания в лагере на Соловках. Занимаясь археологией и филологией и проглядывая этот сборник, я не обратил на нее особого внимания: меня тогда не интересовала ни криминальная среда, ни ее жаргон. Через полвека после Лихачева угодил в тюрьму и лагерь я. В то время господствовал принцип «в Советском Союзе нет политических заключенных», и всем арестованным так называемой «Ленинградской волны» начала 1980-х (университетским преподавателям — кроме меня это были Азадский, Рогинский, Мейлах, Мирек и др.) дали сугубо уголовные статьи и направили в общеуголовные лагеря.

Как археологу-преисторику мне бросилась в глаза ужасающая примитивность мышления и поведения уголовников и поразительное сходство этой среды с первобытным обществом, которое я много лет изучал по археологическим остаткам и этнографическим параллелям. В таком случае, решил я, нужно использовать предоставившуюся возможность для изучения феномена первобытности в новом ракурсе — пусть это будет моя семнадцатая научная экспедиция. Конечно, в трудных условиях, но ведь и прежние были нелегкими.

Я мучительно вспоминал, что где-то читал об особой примитивности воровской речи, но, каюсь, ни автора, ни названия статьи не мог припомнить. У меня примитивность речи в лагерной среде заняла место в общем перечне сходств уголовного сообщества с первобытным миром. А список получился внушительным: я насчитал 14 признаков.

На первое место я поставил жестокие обряды инициаций — в тюрьме и лагере они называются «прописка». Далее я отметил табуированность многих слов и действий (в уголовной среде — «понятие»), татуировку (наколку), которая имела такое же символическое значение и была столь же функциональна, как в первобытном обществе, обозначая статус и состояние человека. В моем перечне упоминаются также трехкастовая структура общества («воры», «мужики» и «чушки»); выделение вождей с их боевыми дружинами; сбор дани; вера в магию и приметы; примитив-

ность речи (куцые фразы, экспрессивность речи, бедный словарь, несколько бранных слов выражают сотни понятий); демонстративный культ матери («не забуду мать родную»).

Как и в первобытном обществе, в тюремно-лагерной среде господствует обостренная чувствительность к соблюдению сексуальных норм и мужского достоинства; первобытному значению родственных связей (в лагере они, естественно, невозможны) соответствует территориальная консолидация. Как и в первобытном обществе, существует постоянная возможность распада, хаоса, свирепого самоуправства, кровавых неурядиц — все это называется «беспредел», для предотвращения которого существует неписанный «воровской закон». В первобытном обществе это так называемое «обычное право» — неписанная система норм и обычаев, фиксированная в мифологии. У преступников также есть своя мифология, воровской фольклор.

Еще в тюрьме я задумался над тем, каковы причины этого потрясающего сходства: первобытное общество — и наша современность, через головы множества поколений, через толщу эпох. И пришел к определенным выводам, которые стал записывать и аргументировать наряду с наблюдениями — то есть начал писать книгу. Условия были не самыми удобными для работы, в камере (прежней одиночке), где я провел год и месяц, на 8 квадратных метрах размещалось 12 человек, и, кстати, творчество администрацией не позволялось, но я выпросил разрешение заниматься иностранными языками (самообразование поощрялось) и под видом упражнений в английском, немецком и французском стал на этих языках вести свои записи и продолжил их в лагере¹.

Для объяснения сходств я мог бы обратиться к юнговскому феномену архетипов сознания, но, в сущности, он ничего не объясняет, а лишь констатирует, называя те же явления другими словами. Каким образом могли психологические установки первобытного общества дожить в сознании людей до нашего

¹ В 1988–89 году мои очерки были опубликованы под псевдонимом в журнале «Нева», они легли в основу книги «Перевернутый мир», которая сначала вышла на немецком языке в Германии (1991), затем в 1993 году на русском в Петербурге.

времени и почему они проявились в этих условиях и в этой среде? Широкое распространение лагерных песен и жаргона, то есть первобытных «пережитков», вне лагеря объясняется, возможно, не только огромным количеством прошедшего через лагерь населения, но и какими-то установками сознания, засевшими в головах еще с первобытности.

Следует вспомнить, что нынешний вид человека (*Homo sapiens sapiens*) сформировался не в эпоху цивилизации. Когда спрашивает студент, какие этапы прошло формирование физического облика человека, обычно называют питекантропа, синантропа (более сведущие добавляют *homo habilis*), неандертальца, кроманьонца... Кроманьонец — это и есть *homo sapiens sapiens*, только ископаемый. Иными словами, кроманьонцы это мы. Различия между кроманьонцами и современными людьми незначительны и могут быть приравнены к расовым. То есть любой кроманьонец, родись он в нынешнем обществе, вырос бы вполне современным человеком (чего нельзя сказать о неандертальцах), а любой из нас, попади он при рождении в кроманьонскую эпоху, смог бы стать нормальным кроманьонцем.

Но формирование любого вида животных проходило в порядке его приспособления к среде обитания (законы дарвинизма остаются в силе), а формирование человека, пока цивилизация не успела ослабить воздействие природных законов, проходило и в порядке его приспособления к культуре. Значит, кроманьонец сформировался хорошо приспособленным к той культуре, которая существовала на заре стабилизации его как вида — около 100 тысяч лет тому назад, по современным подсчетам, в верхнем палеолите. Это была культура развитого первобытного общества.

Здесь мы сталкиваемся с феноменом различия темпов биологической и социокультурной эволюции человека. В соответствии с общей дискретностью мира, та и другая скачкообразны. Но темпы смены этапов у них разные. Для биологической эволюции нужна смена многих и многих поколений, накопление интервалов между рождением человека и рождением его ребенка, и эта смена не ускорила, даже замедлилась. Социокультурная же эволюция основана на передаче культурной информации, а эта передача не нуждается в таких жестких интервалах и происходит все быстрее. За те сто тысяч лет, которые прошли со времени последнего скачка биологической эволюции, создавшего кроманьонцев, социокультурная эволюция пре-

одолела множество ступеней — перешла от палеолита к мезо-, а затем неолиту, потом к бронзовому и железному веку, от собирательского хозяйства к производящему, прошла по всем этапам цивилизации, по всем эпохам истории — а следующего скачка биологической эволюции нет. Человек все еще обладает теми психофизиологическими задатками, которые хорошо отвечали потребностям первобытного общества, но давно (и все больше) не соответствуют требованиям современности.

Мы приспособлены жить на природе небольшими общинами и охотиться на крупную дичь, а вынуждены существовать в колоссальных скоплениях себе подобных, в каменных ящиках, разглядывая не мамонтов вдаль, а крохотные закорючки на бумаге вблизи. Первый признак дезадаптации — очки, второй — излишние выбросы адреналина в кровь. Естественная агрессия природного охотника не находит удовлетворения. Стуженность обитания вызывает постоянные стрессы. Пьянство, наркотики — многие люди явно стремятся вырваться из сознательной жизни, из культуры, которая их не устраивает. «Неудовлетворенность культурой» — так назвал свою известную работу Фрейд. Хулиганские выходки ради озорства, безмотивные преступления приводят юристов в остолбенение. Человек страдает недугами, которых практически нет у диких животных: сердечно-сосудистыми, нервно-психическими, раком. Болеют ими только люди — и домашние животные! Самоубийства, истребительные войны совершенно чужды животному миру.

Как же человек с этим справляется? Все, что он имеет и что позволяет ему жить в среде, которая совершенно не соответствует его природным данным, наработано КУЛЬТУРОЙ. Культура создала специальные компенсаторные механизмы для выпуска излишней энергии, для выбросов адреналина: многолюдные зрелища — гладиаторы, коррида, петушиные бои, бокс, футбол, хоккей, далее игровой спорт и физкультура (физическая культура!). Система запретов и норм, регулирующих поведение, позволяет ограничить разгул сексуальных, территориальных, имущественных и иных столкновений интересов колоссальных масс людей, живущих на тесных пространствах; искусство и литература формируют мир идеалов и символов, делающих соблюдение этих норм внутренней потребностью человека.

А что происходит, когда по тем или иным причинам в семьях или других сообществах

образуется дефицит культуры? Тогда человек становится дикарем, высвобождаются те его инстинкты, которые у обычных современных людей скованы культурными нормами, и человек с дефицитом культуры нарушает эти нормы и связанные с ними юридические законы. А если такие люди собраны в группы, то в этих группах автоматически возрождаются нормы и институты, которые ближе к первобытному обществу, потому что подобных норм и институций требует (и после некоторых опытов находит) не обработанный культурой коллективный разум.

В чистом виде (без описания наблюдений) эти выводы были сделаны мною в статье «Мы кроманьонцы: Деадаптация человека к современной культуре» (конференция «Смыслы культуры», 1996 г.).

Однако не все со мною согласны. Наиболее сильные возражения высказаны талантливым антропологом А. Г. Козинцевым в статье 2004 года «О перевернутом мире (историко-антропологический комментарий к книге Льва Самойлова)». Козинцев начинает с обзора эволюции лагерной системы в России за 130 лет. «Наша задача, — пишет он, — облегчается тем, что четыре автора — Достоевский, Чехов, Солженицын и Самойлов — описали нам четыре хронологически последовательных момента этого процесса, разделенные интервалами по три-пять десятилетий. Разумеется, их труды — лишь наиболее крупные вершины среди огромного массива литературы о тюрьме и каторге в нашем государстве. Но и они оказываются вполне достаточны для оценки масштаба происшедших изменений». Рассмотрев четыре вехи — «Мертвый дом», Сахалин, ГУЛАГ и «Перевернутый мир», — Козинцев отмечает резкое отличие двух первых от двух последних. В первых не было той лагерной системы (ЛС), которая как раз и сопоставима с некоторыми установками первобытного общества. Между тем, дефицит культуры был там даже более разительным, чем в ГУЛАГе и «Перевернутом мире» «финального социализма».

«Итак, — заключает Козинцев, — откуда же взялась ЛС? Разумеется, из прошлого. Но не из палеолитического, а из гораздо более близкого — предреволюционного. <...> По-видимому, к главным причинам зарождения и последующего усиления ЛС следует отнести либерально-прогрессивные, а затем и леворадикальные тенденции государственной политики вообще и либерализацию лагерных порядков по отношению к уголовникам в частности».

В оценке значения «либерально-прогрессивных» и «леворадикальных» тенденций государственной политики я, пожалуй, соглашусь с Козинцевым, но в неожиданном для него ракурсе. Дело в том, что он не подметил одной особенности советских этапов развития лагерной системы по сравнению с дореволюционными, — а именно она может объяснить отсутствие на дореволюционной каторге тех первобытных порядков, которые возродились в советских лагерях, а оттуда проникли в тюрьмы. До революции каторга была нацелена только на наказание (возмездие за преступления) и устрашение. Поэтому самоорганизация каторжников практически отсутствовала. «Одиночка» в тюрьме, кандалы и цепи на каторге создавали вокруг наказуемого барьер изоляции. В советской же пенитенциарной системе возобладала (и не только декларативно) установка на перевоспитание преступников, а перевоспитание в соответствии с ленинской теорией «культурной революции» (воспитание коммунистического человека) и педагогической теорией Макаренко мыслилось коллективным трудом. Поэтому всячески поощрялась самоорганизация заключенных в коллектив, а уголовники (по сравнению с «классово чуждыми» политическими) считались «социально близкими» и потенциально коммунистическими тружениками.

При этом упускалось из виду, что культура не наживается нахрапом, что самоорганизующийся в лагере коллектив — это не совет вдохновленных социализмом педагогов, а гигантская воровская банда, труд же заключенных — не радостный и творческий, а подневольный и по всем социальным признакам рабский. Воры не могут обучить честности. Рабы не могут привить кому бы то ни было ощущение радости от труда. Поэтому вместо предполагаемых школ перевоспитания преступников возникли великлетно работающие курсы усовершенствования воров и бандитов. Возникающие в лагерях коллективы воздействуют на молодежь именно в этом направлении. Ясно, что в таких условиях самоорганизация и должна была привести к проявлению инстинктов, которые сдерживались культурой. Агрессии, эгоизма, ксенофобии, охотничьей солидарности малых групп — тех самых инстинктов, которые когда-то естественно выражались в первобытных структурах и формах поведения, а сейчас, высвободившись и взаимодействуя с неотесанным умом, вырабатывали те же самые или очень схожие формы поведения и аналогичные структуры, то есть схожую по важным параметрам с первобытной, архаичную, атавистическую, но, конечно, культуру.

Разговор об уголовном мире и его сходстве с первобытным обществом наводит Козинцева на мысль о биологической природе человека. Ему представляется, что я считаю вора и дикаря естественным состоянием индивида, а современного человека — искусственно окультуренным вариантом.

«Вопрос о естественном состоянии человека ...бесмыслен..., — возражает он. — Обезьяна по природе — обезьяна, но человек по природе — не человек. Он вообще никто. Человек он только по культуре. Он рождается на свет, не будучи запрограммирован ни на какую эпоху — ни на родовой строй, ни на рабство, ни на крепостничество, ни на социализм, ни на капитализм. От природы он не добр и не зол, не воинствен и не миролюбив. Он может стать и дикарем, и профессором. Кем угодно. Как ребенку безразлично, какой язык усваивать, так и человеку с еще несложившейся поведенческой программой безразлично, кому верить — жрецу, священнику, комсомольскому секретарю или пахану. Уходит одна мораль — приходит другая. Вакуум заполняется не биологией, а другой культурой. В данном случае слово “культура” следует понимать в самом широком смысле: бескультурье — тоже культура, хотя и плохая. Но “никакой культуры” не бывает, как не может быть никакой погоды».

Я и не говорю о «никакой культуре» — но о «дефиците культуры», об отсутствии «современных культурных норм», в некоторых случаях о «бескультурье» — именно в том смысле, который имеет в виду и Козинцев («тоже культура, хотя и плохая»). Да и Козинцев говорит о «еще не сложившейся поведенческой программе», а поведенческая программа — это и есть культура.

Вопрос о естественном состоянии человека не бессмыслен, он только менее важен, чем вопрос о его культуре. «Человек по природе — не человек»? Сказано красиво, но неточно. Человек и по природе выше всех других животных, он готов к усвоению любого языка и любой культуры. И с тем, что его природа не имеет значения, я не могу согласиться. Каждый учитель знает: дети бывают злые и добрые, умные и глупые, одаренные и бездар-

ные. Да, каждый может стать профессором, но каким? К сожалению, многие профессора — из этих «каждых». И с тем, что человек не запрограммирован ни на какую эпоху, я не согласен. Как и всякое животное, он запрограммирован биологически на ту эпоху, в которой сформирован его вид. Для человека это палеолит. К прочим эпохам ему придется адаптироваться, и в этой адаптации огромную, решающую роль играет культура. Конечно, природа всегда программирует с избытком, это резервы для адаптации, но нужна именно культура, чтобы их мобилизовать и использовать.

Та культура, которая создана и ежегодно стихийно воссоздается в лагерях, а оттуда с угрожающей настырностью распространяется на всю страну — плохая культура, архаичная, агрессивная и жестокая. Это первобытное, дикое общество, которое, как раковая опухоль, находится внутри нашего современного общества, распространяя метастазы. Одна из них — дедовщина в армии. Единственный способ избавиться от смертельно опасного ракового процесса — это уничтожить сам механизм его воспроизводства: упразднить систему концлагерей. Лагеря невозможно реформировать, улучшить и радикально исправить. Они никогда не станут очагами перевоспитания преступников, ни при каких подправках не перестанут быть рассадниками криминала.

Ни в одной развитой стране нет такого архипелага, все обходятся другими пенитенциарными системами. Есть более либеральные системы — со штрафами и домашними арестами преступников, есть достаточно жесткие — содержание преступников в тюрьмах, в одиночных камерах. Но концлагеря — это один из грандиозных экспериментов социализма, и эксперимент провалившийся. Если эксперимент не удался раз, виноват экспериментатор, три — теория. Эксперимент с лагерями провалился сотни раз. Он унес миллионы жизней, а воровская и бандитская мораль отравляет страну. Пора с этим кончать. Уверен, что Дмитрий Сергеевич Лихачев обеими руками подписался бы под этим выводом.